

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Сочинения



Александр Иванович Эртель

Addio

«...у меня поселилась тетка. Она старая-престарая, нос у ней длинный и большой, походка мелкая и колеблющаяся... Но у ней большое горе, и она вечно вздыхает. Какое горе? — Я не признаю это горем: у ней есть сын, очень молодой человек, и этот молодой человек на далеком севере. Мало ли молодых людей на далеком севере!.. А между тем она мне надрывает душу своими стенаниями и тем рассеянным и тяжелым взглядом своим, который не сводит по целым часам с его писем, с его фотографии, с его наивных игрушек, уцелевших от мирного детства...»

Александр Иванович Эртель
Addio[1]

6 марта. Сумрачно и тепло.

Сегодня всю ночь в логу ревела вода, и всю ночь не мог заснуть я. Грудь ноет, в ушах непрерывный звон, нервы раздражены и натянуты подобно струнам... Ах, эта весна!

И вообразите, у меня поселилась тетка. Она старая-престарая, нос у ней длинный и большой, походка мелкая и колеблющаяся... Но у ней большое горе, и она вечно вздыхает. Какое горе? — Я не признаю это горем: у ней есть сын, очень молодой человек, и этот молодой человек на далеком севере. Мало ли молодых людей на далеком севере!.. А между тем она мне надрывает душу своими стенаниями и тем рассеянным и тяжелым взглядом своим, который не сводит по целым часам с его писем, с его фотографии, с его наивных игрушек, уцелевших от мирного детства.

И вот собрались мы, старый да больной, и зарылись в глубину безмолвствующей степи и, каждый в одиночку, томительно одолеваем век свой. Скучно и больно.

Впрочем, пройдет март, и располземся мы, и печальная степь уже не будет расстилать перед нами необъятные свои дали. Я поеду к

голубому морю; буду видеть голубое море, буду слушать гармоничный лепет тихо вздымающихся волн, буду вдыхать воздух, напоенный южным солнцем и тонким запахом олеандров, и целительный воздух оживит меня... А когда я уеду, тетка снова подымет свое имущество (старое пианино с пожелтевшей клавиатурой), и переселится в Воронеж, и снова наклеит на оборванную дверь своей квартир-ки узкий билетик:

*УРОКИ МУЗЫКИ, 50 КОП. В ЧАС.
Г-ЖА КАПИТОЛИНА КАВЕРИНА.*

Правда, ей хотелось бы вместо этих уроков улепетнуть на сельское кладбище, вокруг которого так беспечально шумят ракиты и веселые птицы поют звонкие свои песни, и залечь там в глубокой могиле... Но ей необходимо жить. Безжалостен суровый север, и ее милый мальчик захиреет без материнских полтинников, аккуратно высылаемых по глухому почтовому тракту.

Но зачем я еду в Ментону? Ах, это такая длинная и такая скучная история...

9 марта. Солнце. Тает. Ветер с юга.

Утром Семен вошел ко мне и ясно улыбнулся.

— Жаворонки прилетели! — сказал он и протянул некоторое подобие птицы, испеченной из теста. Я отведал: было вкусно и несколько приторно. Тетка отломил кусочек. Поглядела на него долго и пристально и заплакала.

— Тихий мой... Любил он этот обычай... Сам, бывало, на стреху кидает жаворонка и радуется... — произнесла она сквозь слезы, и сдерживала эти слезы, и умиленно улыбалась.

Это хорошо: прежде она не могла плакать. Я не стал утешать ее. Я одел шубу и вышел из дома.

На дворе было приятно. Солнце высоко стояло в синем небе и блистало ослепительно. Снег синел, медлительно разрушаясь. Желтая травка сквозила на проталинах. По косогорам тихо звенели ручьи. Куры хлопотливо разрывали кучи теплого навоза и весело кудахтали. Петухи будили тишину победоносным своим криком. У застрехи суетились и чирикали воробьи. С пруда гулко и отчетливо

разносились удары валька.

Я уселся на бревно, с незапамятных времен поверженное у конюшни, и лениво отдался тихим и задумчивым грезам. Солнце сильно пригревало. Было тепло. Мягкие лучи ласково скользили по мне. Слабое дыхание южного ветра нежно прикосалось к лицу. Я сидел, и смотрел кругом, и слушал.

По стене конюшни, защищенной коноплею, бродили светлые пятна, и сероватая поверхность бревна казалась бархатною. Это бревно с утра до заката нагревалось солнцем. Снег около него уже растаял, и земля обнажилась. Рыхлая и жирная, она как-то весело выделялась своей чернотой и пахла тонким запахом. Следы моих ног отпечатлелись на ней явственным углублением. За растаявшей круговиной синел сугроб. Еще недавно горделиво возвышался он строгим и холодным очертанием своей конусообразной вершины, едва не достигавшей до застрехи, теперь же явно поник и беспомощно опадал все ниже и ниже. Шероховатая ледяная кора образовалась у его подножия, и тоненькие ручейки сочились по ней, медлительно извиваясь к тропинке,

ведущей в ложбину. С застрех, тихо и однообразно, падали капли. Иные из них прихотливо сверкали, держась на конце ледяных сосуллек, нависших с крыши подобно сталактитам. Иные ударялись звонко и правильно. Падение других походило на шепот. Иногда, сталактиты ломались, и проносился звон, как от разбитого стекла. Тогда воробьи испуганной стаей отлетали от застрехи и оглашали воздух беспокойным чириканьем, а близ проходящий петух поднимал ногу и с важным недоумением осматривался по сторонам. Разбитый же сталактит таял, и млел на солнце, и исходил слезами... За углом конюшни мерно и мечтательно булькал ручей. Пробегая мимо тоненькой ледяной пленки, кое-где застывшей у его края, он мелодично звенел мелким и серебристым звоном, и мне чудились струнные звуки, таинственно колеблющие чуткий воздух...

И тихие грезы мои вставали ярче и теснились мне в душу непрерывною вереницей. Все мое существо переполнялось беспокойною грустью. Непрестанные звуки, стоящие в воздухе, досаждали мне своей невнятностью

и своим осторожным и таинственным лепетом. Ликующие восторги птиц раздражали. Свет, расточаемый щедрым солнцем, казался больным и как бы замирающим в каком-то чахоточном бессилии, и острая теплота южного ветра неприятно стесняла мое дыхание. Мне казалось, природа, вместо обновления, умирала, и жизненные ее силы поникали в молчаливой покорности, и смерть эта была моей смертью.

Я встал и пошел в поле, и долго шел быстрым шагом, не оглядываясь назад. А когда оглянулся — хутор был далеко. Крыши построек, занесенные снегом, еще не успевшим растаять, смутно возвышались в долине, и трубы чернелись как точки. Пустынная окрестность кругом облегла меня. Бесконечная равнина однообразно замыкала дали. Я остановился и прислушался. В далеком степном пруду шумела вода, низвергаясь с плотины. Я дошел до кургана и сел там, подстлав шубу. Дали широко раздвинулись предо мною. На белой равнине засинели кусты, и беспорядочно набросанные поселки замескали там и сям. Мертвая тишина властно цар-

ствовала в пространстве. Молчали люди, молчали птицы, молчала степь, и необъятная даль безмолвствовала в какой-то угрюмой задумчивости. Шум воды, глухо доносившийся до кургана, казалось еще более усугублял строгость и величие этой тишины.

И неодолимая печаль охватила меня. Я чувствовал, как сердце мое расширялось в какой-то тяжелой и мучительной истоме, и тоскливая жалость закрадывалась в душу.

И долго сидел я недвижимо. Годы, прожитые в этой степи, бесшумным рядом проходили предо мною. Вспомнились мне мои встречи, мои знакомства люди, изуродованные вечной сутолокой, люди, пришибленные жизнью, погибшие и погибающие: Серафим Ежиков, офицерша, Поплешка, Харламий, Лебедкин, Люба, Семен мой неизменный, и наряду с ними провосходительные Гермогены, выложенные Карамышевы, европействующие Липатки, воинствующие Гундриковы, скотоподобные мельники из Криворожья... Повсюдные примеры непосильной борьбы и ликующего свирепства. Боже, боже, где же выход из этой скорбной ночи, позабытой солнцем... Где

же звуки, которым суждено пробудить эти деревни, изболевшие в дремоте, эту изнемогающую в косности степь!.. Весна придет, и опять настанет весна, а мертвая тишь не прервется, и не закипит бойким ключом томительно разлагающаяся жизнь.

И даль неудержимо повлекла к себе мои грезы. Уехать, позабыть, не видеть этой степи с ее вековечной печалью, с ее курганами, угрюмо сторожащими окрестность, с ее молчаливыми селами и деревнями. Довольно терзать душу этим закаменевшим пространством и с мелочной точностью отмечать жестокие идеалы, наводняющие глушь... Дальше, дальше!.. Пусть версты и версты бесконечными точками вырастут на моем пути и бойкая жизнь закипит вокруг меня... Пусть яркое небо и голубые горы скорее встанут на смену этих необъятных далей, тоскливо разъедающих душу, и пускай поспешней вырастают башни и храмы зарубежных городов в ясной перспективе благотворного южного воздуха... Я хочу жить. Я не могу вдыхать пустоту и с рабской покорностью подставлять мою спину героям дня. Я не в силах, подобно авто-

мату, с неукоснительной аккуратностью вести перепись, гадам, заплонившим мою родину. К чему вести? Весна придет и снова настанет, а мертвая тишь не прервется...

Кончено... Прости, степь, и не поминай лихом. Буду искать на чужбине счастья и воли. Буду испытывать в себе «всечеловека». Заменю соседей моих, преуспевающих в хищении: чужого и в расхищении своего добра, светлыми образами «мировой» поэзии — Шекспиром, Данте, Гете, Пушкиным... Погружусь в чудотворный источник святого искусства, непричастного злобе дня... Обойду галереи Дрездена и Рима. Осмотрю Венецию, побываю в Лувре. Буду бродить по развалинам: Помпеи... И с священным трепетом восприму великую тайну античных преданий и всецело проникнусь ими. И когда сердце мое закаменеет, когда лишь один чистый и холодный идеал красоты получит к нему доступ, — с гордостью скажу, что я одолел мою скорбь и погибавшую душу мою сохранил на чужбине.

И когда я сошел с кургана, печаль покинула меня. Я забыл боли и скорби, которыми жил доселе и под гнетом которых беспомощ-

но замирала родная моя степь и безропотно погибали родные, мне люди. В моем воображении чуждый край ослепительно сиял, и искрился, и манил меня невозмутимым своим покоем, где счастье, свобода, воля... Я бодро шел к хутору, дерзко измерял даль, без конца убегавшую в пространство, и безбоязненно будил угрюмую тишину прекрасными немецкими словами:

Dahin, dahin, wo die Zitronen blühen...[2]⁽¹⁾

Следы мои четко обозначались на влажном снегу. Равнодушное солнце пронизывало воздух сверканием.

Шумно вошел я в комнату и... присмирел. Грустные звуки пианино раздавались в маленьком зале. Изредка дрожащий голос тетушки, преодолевая слезы, присоединялся к этим звукам и наводил на душу невыразимое уныние. И повторяла она один и тот же куплет:

*Прости же! Новой жизни
Заря блестит и мне,
И встретимся мы скоро
В неведомой стране...*

То было «Addio» Шуберта.

И солнечный луч, игравший на белой стене, снова показался мне лучом умирающим, и неодолимая печаль обняла мою душу...

10 марта. Облачно. Моросит дождь.

Сажу дома. На дворе мокро, и выйти невозможно; снег под ногами проваливается; неприязненная сырость пронизывает насквозь. В доме тихо и сухо, и неустанный маятник четко отбивает такт... Тусклый свет лениво льется в плачущие окна. Тетушка неутомимо вяжет и гремит спицами. Я хожу по комнатам, и подолгу останавливаюсь перед окнами, и тоскливо гляжу в них. Сизые тучи густо заслоняют небо. Они вьются, подобно дыму, и быстро уносятся в даль бесконечной чередой. Вдали мрачным туманом встают кусты и расстилается белое поле, изборожденное проталинами. Ближе зияет плотина, усаженная ракетами. Дружные ракеты печально преклоняются по воле ветра и беспомощно простирают гибкие ветви свои, как бы умоляя о пощаде. Еще ближе трепещет сад. Жидкая сирень беспрестанно приникает к сугробам, и целует их, и плачет над ними холодными сле-

зами; важные яблони медлительно кивают и колеблются; синий вишенник разбегается беспокойными волнами и, цепляясь друг за друга, переполняет воздух шумом; густой куст орешника, заслонивший одно из окон залы, отчаянно бьется и с буйным дребезгом хлещет стекла, словно оповещая сад о дерзкой своей отваге... Пруд глухо ревет, перебегающая плотину. Мне видно, как лед на нем поси-
нел и безобразно вздулся, покрывшись трещинами, а вокруг плотины выступила темная вода, отразившая в сердитых волнах своих изломанные очертания раки и злое небо. В конце пруда мечется камыш, беспорядочно помахивая мокрыми кистями своими...

Перехожу на другую сторону и смотрю на двор. На дворе пусто. Куда-то пробежала кухарка, фартуком заслонившись от ветра. Сиротливо потрусил и скрылся под крыльцо Волчок, недовольно отряхая мокрые лохмотья свои и уныло поджимая хвост. Быстро и осторожно пробежала кошка к амбарам... И снова пусто. Ветер рвет и щетинит застрехи, свободные от снега, и сердито ударяет ставнем кухни. В небе крутятся тучи... Сумрачная

даль замыкает поле. Дозорный курган мрачно чернеет.

Боже, какая скука! Никогда хутор не казался мне таким склепом, и никогда такой мрак не угнетал меня. Уж не напиться ли мне и не забыться ли в пьяном веселье... О, если бы скорее отсюда...

— Нет ли письма теперь? — робко осведомляется тетка и с тоскою глядит на меня слезящимися глазами.

Я первый раз вспомнил о почте, и дыхание мое радостно стеснилось. Мне даже показалось, что небо внезапно просветлело и повеселели комнаты, переполненные сумраком. И вместе с этим мне стало стыдно. Область отвратительнейшей душевной возни и мучительных сомнений в конфузе отступила на задний план, и величавый образ необъятной отчизны встал, и вырос, и всецело заполонил мое воображение. Образ этот пришел как бы извне, светлый и величественный. Внутренний мой мир, казалось, совсем отсутствовал в созидании этого образа и ни одной печальной чертой не потревожил его ясных очертаний. И когда я вспомнил — все мои встречи и

мои наблюдения показались мне мелкими и случайными, а выводы грешили преувеличенной мрачностью. Я в трепете жаждал разоблачений и поправок... И вдруг мне стало казаться, что именно это почта, где лежат целые груды журналов и газет, упразднит мои скорби и примирит меня с родиной. О, я не сожгу тогда свои корабли и пошлю к черту «святыню красоты» со всеми ее приманками и античными перспективами. Целый месяц не видал я газеты, и целый месяц хутор на Грязнуше отделен от мира.

Я кликнул Семена, который вечно подшивал подметки в передней комнатке, но его не было. Тогда я закутался в шубу и направился в людскую. Там облаками ходил дым и мои домочадцы плотно восседали вокруг стола. Водка в зеленоватом полуштофе и ломоть черного хлеба, круто посыпанный солью, услаждали их души. Когда я входил, ораторствовал Яков.

— Прямое дело по указу! — говорил он, — уборка уборкой, а указ указом... Сорок рублей бери за десятину, и шабаш!.. А кто взял меньше, прямо, господи благослови, к исправнику.

Там, брат, разговор короткий!

— Да ты видел указ-то? — в некотором недоумении спросил Семен.

— Чего — видел? — огрызнулся Яков и молодцевато сплюнул: — чай, видали! Я вот в позапрошлую среду в Липяги ездил — мужичок мне встретился: тот, мало того — слышать, — своими глазами видел. Висит, говорит, в волостной на стенке, и еще насчет земли висит...

— Это насчет прирезки? — живо отозвался Михайло.

— И насчет прирезки и насчет — не болтать, чтоб до поры, до времени... Дело известное!

— Я вот тоже странницу встретила... — начала было Анна, но тут домочадцы заметили меня и несколько переконфузились.

— Что это вы затеяли? — спросил я, указывая на полуштоф.

— Да от скуки, малым делом... по стаканчику... Делов нету, мы и пристроились... — ответили домочадцы, приводя в порядок возбужденные свои лица.

Я позвал Михайлу и возвратился в дом.

— Можно проехать в город? — спросил я, когда Михайло пришел вслед за мною и с развязностью запрягал руки в карманы полушубка.

— В город?

— Да.

— Что ж... На Орлике?

— На нем...

— На Орлике проедешь. Орлик — лошадь добрая. На ем ежели не проехать, так прямо, надо сказать, вроде как убогий какой не проедет... Вроде как пужливый человек, например.

— Ну, так ступай собирайся.

Но Михайло стоял и расточал убедительные словеса.

— И ежели теперь Гаврюхину вершину взять — беспрременно прошла Гаврюхина вершина! — продолжал он. — И опять объехать возможно, ежели не прошла, например. Взял и объехал. А Орлик — лошадь добрая. Взять его ежели да подседлать, так я не токмо в город...

— Ну, собирайся же и ступай.

— А насчет чего ехать?

— Почту привезешь.

Лицо Михайлы вдруг изобразило тонкую улыбку.

— Это мы понимаем, ежели насчет почты, — сказал он и, поспешно выходя, добавил: — а что на Орлике не съездить, так это бить надо такого человека по морде! Мы тоже очень хорошо понимаем...

Через полчаса фигура, всадника мелькала в поле. Орлик горячился и порывался стать на дыбы. Темные следы резко обозначались на снегу.

11 марта. Ветер. Мороз. В небе тучи.

Зима соскучилась и внезапно возвратилась к нам. Боюсь за сад: толстый слой льда облепил деревья, и ветви низко повисли под его тяжестью. Некоторые сломались. Орешник, колеблемый ветром, немилосердно гремит за окном и с каким-то сердитым шорохом лезет в стекла.

К вечеру приедет Михайло. Не знаю почему, но дышится как-то легче; теперь мне уж наверное кажется, что это проклятое захолустье извратило мое понятие о вещах и что на самом-то деле жизнь российская изобилует

благодатью. Непременно совершилась ошибка, думается мне. В оптике часты такие истории: ничтожная подробность заслонит общее, и характер извращенности неизбежен.

Однако что за чудеса с моими домочадцами? Лица их явно торжественны; в словах замечается подозрительная осторожность; часто за полночь длится у них беседа, и аккуратный Семен вечно отсутствует.

Наконец-то является Михайло. Боже, как рада ему тетка! Но из его сумки выгружаются газеты и журналы, а письма нету... Тетка покорно возводит взгляд к иконе и удаляется. Это хорошо — прежде она не могла молиться. Спустя полчаса унылые звуки вторгаются в залу, и старческий голос едва слышно поет:

*...Кто здесь страдал, боролся,
Как друга смерти ждет:
Она ему свободы
Святую весть несет...*

В передней я расслышал шепот.

— Скорей, — говорил Михайло Семену, — я одну газетину подцепил... во!.. По селам, брат, варом варят насчет указа...

И Семен быстро накинул на плечи кафта-

нишко и потрусил в людскую. Я вспомнил, что Яков — грамотный. Между газетами недо-ставало одного номера «Руси»⁽²⁾.

3 часа ночи. На дворе буря.

Какая ночь!.. Я чувствую, как тело мое холодеет от ужаса и невыразимая тоска сжимает сердце. Я не могу читать более... Куда уйти мне от этой проклятой груды печатной бумаги и как убежать от ада, стремительно наводнившего мое воображение... Голова пылает, как в огне. Пустынная комната переполнена призраками, и в мертвой тишине, прерываемой однообразным лязгом маятника, безостановочно несутся звуки. Стены оживают... За голой их поверхностью встают и тянутся предо мною картины несказанной скорби. Мрачная ночь угрюмо смотрит в окна и словно сторожит меня, подозрительно сдвигая свои зеницы. В те стекла, где гремел орешник обледеневшими ветвями, упорно заглядывает привидение и, неотступно потрясая раму, водит костистыми лапами, и скребет ими, и кивает косматой головою. Половица скучно трещит под моими шагами. Пламя свечи слабо трепещет и колеблется...

О, беспощадный дух времени — дух-сфинкс, пожирающий мудрецов! Зачем же ты с такой непрестанной жестокостью куешь новых и новых врагов всяким основам и устоям и, безжалостно устраняя наивные идеалы старины, необозримую пустоту воздвигаешь им на смену?.. Теперь с мучительной ясностью вижу я, как под бременем непрерывных испытаний, ниспосланных тобою, изнемогла моя бедная родина и в истоме бессилия омертвела. Безнаказанно терзает ее грозная семья болезней, предводительствуемых голодом, и могущественный кабак из конца в конец раскинул свои сети. Самая природа как бы превратилась и насылает беды. Красный петух мрачно распростирает крылья свои и от Белого моря до Немана озаряет небо зловецким заревом... И ко всему к этому без конца свирепствует подлость!.. О, какая бесшабашная, какая беспримерная подлость!.. Стыд устранен. Понятия о чести сотворены излишними. Культ брюха провозглашен господствующим, и ему въявь совершаются отвратительные жертвы. Повальный грабеж и холопство, возведенное в доблесть, рука об руку с

печатью, изборожденною прелестями гражданственных сообщений, развиваются на свободе, подобно ядовитым гадам и, под сенью всеобщей неурядицы, наглеют до размеров грандиозных... Я вижу, как на тучной почве всяческих недоразумений, смутно и с поспешностью, слагаются типы с клювом хищной птицы, с прожорливым желудком удава и с цепкими, жадно распростертыми руками. Иные из них дики и первобытны и по своей исконности соответствуют идеалам «Домостроя»; иные же нацепили европейские одежды и во всеоружии познаний европейских вышли и стали под большую дорогу, по которой, кряхтя и изнемогая, хмельной и младенствующий плетется народ русский... Хищникам споспешествует мрак. Отовсюду бесконечными вереницами ползут тучи. Жестокий ветер пронзительно воет в деревьях. Печальную землю полосует холодный дождь. Тьма без просвета жутко сжимает сердце...

Правда, эту ночь, переполненную ужасом, от времени до времени, быстро мигая, освещают яркие зарницы, и иногда упорный блеск их ослепляет жадные до поживы очи;

но оттого не легче, ибо за мимолетным блистанием угрюмая тьма сгущается еще настойчивей, ветер еще безжалостней завывает в деревьях и еще грознее надвигаются тучи...

И заполненный всеобщим мраком, отуманенный общею скорбью, истерзанный безнадежностью, царящею окрест, я уже забываю о том, что еще недавно культ чистой красоты привлекал меня и дивный край манил к себе ослепительным своим светом... Я, подобно многим, молю о вечном забвении, вечном примирении, вечном покое, и жадно жду царицы-смерти и таинственной перспективы превращения в ничто.

Молю... Но отчего же бесконечная жалость внезапно проникает все мое существо и так болезненно напрягаются тонкие нити, связывающие меня с жизнью? Отчего с такой невыразимой теплотой снова и снова обступают меня родные картины и встает широкое поле, по которому слабо колышется и играет с ветром золотая рожь и узкая проселочная дорога без конца убегает в пространство? Отчего с такою ласкою вдруг развернулся предо мной необозримый степной простор, и приветливо

засияли села крестами церквей своих, и зеленые леса зашумели веселым шумом?

И я чувствую, как что-то странное ширится и растет во мне и с тоскующей болью щиплет сердце... Боже, как сладко мне и грустно, и какой мучительною негой переполняется мое существо! Я вижу свое детство. Вижу троицын день и сад, изнизанный цветами, и народ с цветами в руках. Благовест разносится по окрестности медлительно и плавно. Девки в шелковых платках и ярких юбках идут скромно и тихо, смиренно потупляя взоры. Парни спешат деловой походкой, украдкой поправляя серые смушковые шапки свои. Сивые старики солидно шествуют, важно опираясь на палки. Вся церковь в зелени. Молодые березки украшают клирос. Около иконостаса зеленеют дубовые ветви. На полу разбросано душистое сено. Дьячок Аксеныч смочил квасом косичку и переполнил торжеством лик свой. Умиленное лицо отца Акима сияет благосклонностью. В открытые окна синее небо, и щебечут ласточки, и свежий утренний ветерок доносит запах сирени. Начинается обедня. Бедный тенорок Аксеныча трогательно

дребезжит и уносится к сводам, откуда величественно взирает Саваоф. Отец Аким возглашает внятно и явственно. Листья березок слабо лепечут. Тонкие струйки ладана расходятся по церкви и тихо уплывают в окна. Народ, благоговейно вздыхая, преклоняет колени и отвешивает низкие поклоны, не спуская взора с отверзтых царских врат, где в облаке голубого дыма отец Аким воздвигает святые дары. Угодники любовно глядят на народ свой, щедро одевший их в кованые ризы; божественный младенец ласково тянет к нему ручки. Но вот тишина. Завеса с шумом задерживается. В алтаре совершается что-то таинственное. Щebetанье ласточек ясно слышится за окном. Аксеныч украдкой зеваet в руку и быстро крестит рот. Раздается кое-где кашель. Церковный староста Иван Парфеныч набожно преклонился пред владычицей и, приложившись к ней, отвесил низкий поклон народу. И мелодичный звон колокольчика однообразно запросил жертвы. В потертый зеленый мешок застучали медяки... Пахнет воском и ладаном.

Я стою в самой толпе. Мне нравится сосед-

ство этих дубленых полушубков и шершавых кафтанов, от которых несет такой славной затхлостью. Меня привлекают эти серьезные лица, внимательно и строго обращенные к алтарю, эти крепкие и сильные фигуры. И наивные слова молитв, произносимых ими внятным полусшепотом, кажутся мне чем-то особенно действительным и особенно важным. Мне чувствуется, что здесь совершается нечто значительное и глубоко привлекательное, ибо недаром же одно прикосновение крестьянского полушубка повергает меня в какой-то самодовольный трепет, а слабый удар по плечу тоненькой свечкой, с просьбой передать эту свечку «Ивану Воину», наполняет мою душу гордостью. «Ивану Воину!» — торжественно говорю я соседу моему, седому старику с желтым лицом, изборожденным морщинами, и в немом восхищении наблюдаю, как он с серьезной осторожностью берет у меня свечку и передает ее дальше, повторяя благоговейно: «Ивану Воину». — Я как бы сознаю свою связь и свое сродство с этой толпой, тесно обступившей меня и относящейся ко мне с такой трогательной равноправностью. И я

высоко держу свою голову, обильно напомаженную мамашей, и, не сводя глаз с алтаря, истово осеняюсь широким крестом...

...Слышу зазорные соловьиные песни и гуденье пчел на далеком пчельнике, где так сытно кормит меня пчелинец Карп душистым медом. Развесистые липы обступили поляну. В таинственной их чаще сквозит ручей. Дедушка Карп сидит на пороге избушки и щурится от солнечных лучей, обильным потоком затопляющих поляну. «Кушай, кушай, дитячко! — говорит он мне и гладит мою голову корявой своей ладонью, — кушай на здоровье... Пчелка она святая, пища у ней безгрешная; богу от ней жертва великая: из воску свечи льют... Кушай, родимый!.. И сядь вот тут — тут холодок-от, посиди малость. А я огляжу пойду пчелку, проведаю ее, божию работницу... Сиди, сиди, голубь! Сиди сми-и-рно... Будешь смирно сидеть — пчелка к тебе приобькнет, кусать не будет, медком будет баловать... Так-то-ся!..» И колеблющейся походкой дед отправляется к ульям и с ласковым лепетом наклоняется над ними, наблюдая непрерывную работу пчел. А я одолеваю громад-

ный ломоть хлеба, намазанный теплым медом, и гляжу в вышину, где задумчиво шумят липы, позлащенные солнцем, и ходят косматые облака. И кажется мне, что давно, давно видел я эти липы, и эти облака, и этот пчельник, по которому заботливо расхаживает дед, и так же тогда щелкали соловьи, а ручей сквозил за деревьями. И чудится мне, что все это грезы, и все, что я вижу теперь, проходит предо мной в сонном видении... Странная истома овладевает мною: мне и хорошо, и грустно, и хочется крикнуть деду, чтобы скорее шел он к избушке и разбудил меня любовными своими речами. А соловьи звенят и разливаются серебристыми трелями, и пчелы гудят неутомимо.

...Я вижу луг, над которым только прошла грозовая туча и теперь ярко сияет солнце! Вдали грохочет гром... В траве блестит роса и, подобно червонцам, мелькают желтые одуванчики. Мне кажется, что луг дышит и цветы, окропленные дождем, радостно улыбаются. За лугом роща тесно обступила вершину. Стройные березы ослепительно сверкают своей яркой белизною и веселым глянцем кудре-

видных листьев своих. С этих листьев, подобно слезам, падают капли дождя. В роще поют неугомонные птицы, мелодично переливается иволга и кукует унылая кукушка. Все эти звуки ясно встают над лугом и замирают в отдалении. Около рощи серебрится река. Она недвижима. В ней задумчиво отразился камыш, и старый садовник Артемий опрокинулся там с своей вершей и с своей лодочкой, обросшей зеленым мохом. За рекой ветловый лесок переполняет окрестность суетливым грачиным шумом и беспрестанным треском ломающихся ветвей. А там большое село утопает в ракетах; слышны звонкие удары валька; весело белеет стройная сельская церковь... Узкая дорожка растворилась и вьется черной лентой из села в гору, а на горе зорко сторожит дали крутой курган, и зеленая рожь млеет в ленивой истоме. Около луга смачно чернеет поле. Там двоят под гречиху. Я хожу по мягкой пашне, высоко засучив штанишки, и свободно вдыхаю затхлый запах свежеразрытой земли и влажный аромат луговых трав. Я гляжу на блистающую окрестность, на лошадей, хлопотливо таскающих сохи, на му-

жиков, звонко покрикивающих: «Возле! Возле!», и мне делается как-то особенно хорошо и покойно.

Подхожу к Мосеичу. Мосеич — добродушный старик и вечно говорит со мною. Он допахивает полосу. Грачи вьются за ним и ковыряют носами землю; какие-то бойкие птички быстро мелькают у самых его ног, облепленных грязью. «Что, малец, благодать господь послал? — говорит мне Мосеич, останавливая пегую кобылу свою и очищая сверкающую палицу. — Эх, легка пахота-то!.. Гляди, земелька-то — малина!.. Вот ужo засеem гречишки — будем кашку есть. Ты любишь кашку? Как, поди, не любить... Будем, будем с кашкой!» — И он весело понукает кобылу и вонзает в рыхлую землю острие сошника. А я иду за ним и смотрю, как земля легко и однообразно разваливается под его ногами и проворные птички мелькают вдоль борозды, а синие грачи неуклюже роются носами... Полоса допахана. Мосеич садится на меже, достает из мешочка круто посоленный хлеб и, перекрестясь, начинает медленно и осторожно есть его. Я тоже ем. Хлеб мне кажется

необыкновенно вкусным и Мосеич необыкновенно милым... Я тоже, подобно Мосеичу, стараюсь жевать медленно и серьезно и тщательно подбираю крошки, падающие на мои колени. Пегашка усердно щиплет влажную траву. «Вот погоди, ужо покос будет, приходи тогда, — говорит Мосеич, кончив свой завтрак, — ягода всякая будет...» — «А как ноне травы?» — тоном взрослого спрашиваю я, степенно утирая рукавом губы и набожно крестясь. «Ноне травы хорошие, — отвечает мне Мосеич, — ноне такие травы: копен тридцать как бы не стало. Ишь, какую сырость господь послал!.. Теперь она ботеет, поди, матушка!.. Будем с сенцом!» — «Вы сымали где, аль нет?» вопрошаю я. «Сымали есть которые — нас семь себров[3] на графской сняли. И-и, травы там!.. Мы когда об троице были — ворона схоронится, такие травы!.. Теперь, гляди, по колено выботела, матушка... Да едовая вся, способная, разнотравье!.. Сено-то мед медом...» — «Ну, а как насчет цены?» — «Цена, друг, не то чтобы махонькая: пять рублей за круг, да курицу чтоб предоставить... Цена настоящая!.. Ну и травы же... Бож-же, какие травы!..»

...А вот холмы, встающие непрерывной цепью... Дичь и глушь. Вечер. Заря угасает. В долине тускло светится Битюк, разливаясь тихими заводями. Камыш неподвижными купами смотрится в воду. В воздухе мрачная тишина. Едва заметная тропинка бежит у подножия холмов и ведет неведомо куда нашу усталую тройку. Кудрявый кустарник заполнил скаты. Колокольчик тревожно бьется под дугой и бессильно замирает. Тарантас ныряет по кочкам. «Где же мы, господи?» — тоскливо шепчет мать, и крестится, и таинственно произносит: *«Живый в помощи вышнего...»*

Вдруг лошади вздрагивают и настораживают уши: долгий и протяжный звук уныло будит тишину. Вдали послышался такой же отзыв. То за холмами завыли волки. Неодолимый ужас охватывает меня. Я тесно прижимаюсь к матери, а она торжественно произносит чудодейственный псалом бледнеющими устами и в ужасе спрашивает равнодушного Илью: «Где же мы? Где же мы? Куда девалась Боровая?»

Мы заблудили. Но вот холмы раздвигаются и, вместо кустарника, мрачный сосновый лес

подымает свои вершины. Сквозь темные сосны краснеют крыши, и суровым металлическим блеском блестит пруд. Вода однообразно шумит, низвергаясь с колес мельницы!.. Это и есть Боровая! Илья бойко свистнул и натянул вожжи. Колокольчик зазвенел порывисто и звонко. Где-то за холмом раскатилось и мечтательно угасло в отдаленье тонкое эхо... Прогремел под тарантасом мостик, сколоченный на живую нитку... Отозвался недовольным гулом сонный бор... Приехали. Бабушка сжимает меня в теплых своих объятиях и ведет в комнаты. Самовар бушует. Яйца и масло аппетитно выглядывают с тарелок. Дедушка мельник приветливо улыбается и целует меня в лоб холодными устами...

Ночь. Сижу на крыльце, и суеверный ужас леденит мои жилы. Темные очертания холмов, обступивших долину, резко выделяются на бледном небе. Неподвижный бор сурово хмурится. Вдали дико завывают волки, на мельнице неустанно гремит жернов, и вода переполняет лес таинственным шумом. Под мельницей, там, где неподвижным озером зияет омут и оцепеневшие ивы дружно столпи-

лись и поникли в задумчивой дремоте, печально стонет выпь. Мне страшно, но сердце мое сладостно замирает... А бабушка поджидает меня у моей постели и долго будет говорить со мной, когда я лягу, и до подробностей расскажет мне про те времена, когда была крепостною. Расскажет о помещиках, лихих и добрых, о непосильных крестьянских работах, о Пугачевщине, которую переживала ее мать... Поведает мне старые крестьянские сказки... и благословит и поцелует меня, а я долго буду лежать в темной комнате с открытыми глазами и, прислушиваясь к завыванию волков, буду вспоминать бабушкины рассказы.

...Синее небо молчаливо опрокинулось над степью. Звезды сияют дрожащим блеском и любовно смотрят на землю. Свежий аромат травы насыщает воздух. Я в таборе. Среди куреней весело потрескивает огонь, и косари плотной толпою дожидаются каши. За табором виден вольно распущенный табун, спокойно пожирающий отаву. В ночном небе гордо выделяются островерхие стога. Я приникнул к широкой фигуре друга моего, коню-

ха Федьки, и чутко вслушиваюсь в разговоры. Идет толк об урожае, о ценах на покос, о достоинстве травы, о погоде... О том, что «разнотравье» лучше «тимошки» и что не дай бог, под мочливый год, сеять рожь с бороною. Я все слушаю. Мне до осязательности становятся ясны и преимущества ранней мётки пара, ибо Архип Гомозков всегда мечет рано свой пар (который снимает на стороне) и всегда у него родится, и непригодность мочки конопля весною, потому что еще у всех на памяти, как Аким Павликов погадил таким образом целую пропасть «моченцу», — и неудобство мягкой пашни для проса, — у Андрея Дорошева вырос на такой пашне страшнейший сор.

Но вот поспела каша. Аппетитный пар колышется над котлом. Мозолистые руки начисто умываются. К темному востоку несутся наивные молитвы; громадные ложки приступают к работе. Еда совершается медлительно и достойно. После ужина речи оживают. Слышатся смех и шутки, сладковатый запах махорки стоит в воздухе. Немного погодя затягиваются песни. «Ночки темные» звенят над степью долгим и протяжным звуком. Федька

запеваает. Он молодцевато сдвинул набекрень шапку и нахмурил брови. Сильный голос его как бы тоскует и переполнен волнением. А я сижу и чувствую, как при высоких нотах песни сердце мое сладко замирает и какая-то холодная дрожь мелким ознобом пробегает по спине... И думается мне, что хороши эти мужицкие песни и что ничего нет в мире привольней степи русской, этого звездного неба, мечтательно поникшего над степью...

А когда в небе загораются Стожары, мы садимся на коней и сгоняем табун. Федька зычно свистит и молодецким окриком будит степную тишь. Кони рвутся под нами и грызут удила. Какое-то особое наслаждение доставляется мне, когда я плотно прижимаю ноги к горячим бокам своего иноходца; он скачет и в гневе трепещет всем телом, высоко подымая голову. За моей спиной точно крылья веют; славная бодрость перехватывает мое дыхание. Мне во что бы то ни стало хочется простереть руки и, в порыве счастья, обнять весь мир... Табун сдвигается в кучу. Слышны ржанье, фыркание, взвизги, звонкий топот копыт... Вдали смутно светлеет пруд, и

одиноким хуторским огонек мелькает в темноте. Недалеко же от нас чернеют курени другого табора. Костер в нем едва тлеет, но при нашем приближении около куреней дружно раздаётся девичья песня и мерный топот трепака бойко держит такт. Табун разбредается по копнам. Федька подзывает меня и значительно сообщает свою тайну... О, как гордо подымаю я голову, и какой благодарностью переполняется мое сердце. Но я не изъявляю свои чувства, — я знаю, как смотрят на эти изъявления мои герои: индейцы в романах Купера и мужики, подобные Федьке, — я только с важностью подтягиваю повод и небрежно роняю: «Ладно!». Мы подъезжаем к отдаленному стогу. Федька слезает с седла; я беру за повод лошадь его и, чутко приподнимаясь в стремях, зорким взглядом пронзаю степь. Но в таборе по-прежнему звенит плясовая песня и подкованные сапоги все отбивают разухабистый трепак. А за стогом слышен мне шепот, прерываемый поцелуями, и сдержанный смех, и ругань, полная наивной ласки... Долго спустя я слышу веселый Федькин голос. «Ну-ко-сь, Никола, смотри невесту-то мою!» —

говорит он. Серебристый смех прерывает его. «Молчи, дьявол!..» — с нежным упреком отзывается Федька. Я слезаю неловко, путаясь в стремянах, я чувствую, как лицо мое пламенеет. «Гляди сюда!..» зовет меня Федька и близко наклоняет к своей возлюбленной. Я ощущаю горячее дыхание и вижу темный блеск глаз, который кажется мне насмешливым. Губы мои застенчиво лепечут что-то. Девушка неудержимо хохочет, зажимая рот рукой. Я сажусь на мягкое сено и глубоко вздыхаю: нет меры моему счастью и моему пугливому довольству. А Федька говорит с своей невестой, и называет ее «Дашкой», и беззастенчиво обнимает ее. Впрочем, и она привыкает к моему присутствию. Она толкует о том, сколько в их дворе ржи в посеве, и сколько ярового, и как много придется жать и вязать нынешним летом, но зато осень будет весела и по самый покров будут вечерушки. Она рассказывает, как долго и настойчиво «отливали» у них капусту весной и что у многих все-таки не выдержала она и посохла: весна была сухая и ветреная. Она говорит о том, как «батьюшка» перебился прошлой зимой и не про-

давал овец, а у них три ярки пущены на «долгую», и невестка Арина будет красить шерсть... А Стожары поднимаются все выше и выше, и на востоке тускло занимается заря. Свежо. Глаза мои слипаются; голова бессильно поникает к душистому сену; холодные повода выскользают из рук... «Едем, Николушка, пора!» — будит меня Федька. Я с усилием открываю глаза и вижу возбужденное Федькино лицо, низко наклоненное надо мною. Дашка исчезла. Заря пламенеет узкой полосой. В росистой траве трещит коростель. Прохладный воздух напоен влагою. Алое сиянье преодолевает тени и кротко озаряет степь. Федька гарцует на коне и гремит на всю степь: «Го-го-го!..» Табун дружно срывается с места. Земля гулко дрожит под копытами коней. Крепкий ветер развеивает их гривы. Синяя даль встает бесконечным туманом и медленно курится...

О, какой свежестью и каким невозмутимым миром повеяло на меня. Теперь бессильны скорби, так безжалостно терзавшие меня еще недавно. Надолго ли? Не знаю. Но я равнодушно смотрю на ворох газет, беспорядоч-

но разбросанных по столу, на все эти ноющие корреспонденции из Архангельска и Казани, Чернигова и Тамбова и иных городов и весей обширной земли русской, и все это кажется мне теперь бумагой, не более... одной только бумагой. «Не погибнет Русь до конца, — чуть не вслух восклицаю я, — и почтеннейший дух времени неукоснительно слопаёт дулю!»

Я лег спать и долго лежал с открытыми глазами. Долго старое, доброе время (о, какое доброе!) вставало предо мною рядом пленительных картин, и непрерывно крепили нити, связывающие меня с жизнью. Я чувствовал, как напрягались во мне какие-то силы, дотоле мне неведомые, и усталая моя мысль бодро и смело оживала. Я вспомнил мои думы на кургане... И до того стал мне противен прекрасный чуждый край с ослепительным его солнцем и голубым морем, и таким жестоким холодом повеяло на меня от античных перспектив всяческого рода, что мне стало стыдно, и явные признаки оскомины беспокойно начали осаждать меня... А когда я заснул, то будто со смехом подошел к окну, куда неотступно глядела подозрительная ночь, и по-

смотрел в темноту дерзким взглядом. Там призраки трусливо убегали, потрясая крыльями, и безвозвратно исчезали во мраке... Там бессильно замирали звуки, переполненные скорбью И тоскою... И за далью непогоды кроткий образ родины возник предо мной. Он любовно простирал мне объятья, звал меня печальным зовом и непобедимым обаяньем манил к себе. А вокруг загоралась заря пламенеющим светом, и протяжная мужицкая песня звенела без конца...

На дворе редела буря.

12 марта. Вьюга. Мороз.

Зима окончательно возвратилась. Снег бьет в окна и крутится белыми волнами. В трубе завывает ветер. Вкруг дома рыхлыми буграми встают сугробы. Но на душе тихо и как-то странно веселит молочный свет, заливающий комнаты. Все газеты забросил я в дальний ящик и стараюсь не вспоминать их длинные столбцы, изукрашенные всякой мерзостью. Когда же вспоминаю, то ощущаю боль как от прикосновения к старой, не вполне еще зажившей ране.

Семен пришел ко мне и сообщил, что сол-

датик, идущий на побывку, просится ночевать. Я, конечно, позволил.

Быстро смеркается. Вьюга гудит не устывая. Тетка задумчиво берет аккорды... Скука незаметно подкрадывается и тягучей сетью охватывает комнаты. Семена снова нет в передней. Я одеваюсь и пробираюсь в людскую. Там по-прежнему синей тучей ходит дым и мои домочадцы окружают стол. Лица их изображают жадное внимание. В почетном углу сидит солдатик. Синий мундир небрежно накинут на его плечи, рыжие усы значительно топорщатся, из коротенькой трубочки вьется тонкая струйка дыма. На столе лежит номер «Руси», захватанный пальцами.

При моем входе происходит легкое волнение. «Русь» исчезает. Солдатик вытягивается и почтительно приветствует меня «благородием».

— Откуда ты? — спрашиваю я.

— Из Санктпетербурга, ваше благородие!

— Там и служил?

— Точно так, ваше благородие.

— На побывку идешь?

— Точно так, ваше благородие.

— Куда же?

— В Тамлык, ваше благородие.

— В каком полку служил?

— В жандармском дивизионе.

Я уговариваю всех садиться и сажусь сам. Мне почему-то необыкновенно хочется говорить с ними и узнать откровенные их помыслы. Но вместе с тем мне скучно и неловко, и явственно вижу я, что домочадцы мои изображают в своих лицах тонкую таинственность. За что? — Я ли не любил их, я ли не болел их болезнями и не скорбел бездельем, отравляющим их существование... В чем моя вина? В том ли, что на мне сюртук, а на них посконная рубаха, и не верю я в батюшку Царь-град, и не молюсь матушке великой пятнице? Но ведь я знаю, что я нужен им, что без меня, без моих познаний сеть бестолковейших недоразумений готова опутать их до конца... А между тем эти недоразумения любви им, и явным недоверием встречают они мои попытки поговорить с ними по душе. Прежде я легко относился к этому, но после той передраги, которую довелось мне испытать прошлой ночью, во мне ожила и настой-

чиво заговорила почва. В фигурах домочадцев, знакомых мне до приторности, засквозило теперь какое-то иное выражение, и чем-то глубоко близким повеяло на меня от них... А они пожимались, и переглядывались, и в смущении покряхтывали в руку. Сердце мое болело сосущей болью... Но вместе с тем мне мучительно не хотелось отступить. Я с преувеличенной развязностью вынул и закурил папиросу и, как бы не замечая взглядов, с недоумением обращенных на меня, послал Семёна за водкой...

13 марта. День солнечный. Небо ясно. Тепло.

Сегодня встал поздно. Голова трещит. Во рту чувствуется отвратительная горечь. Грудь болит нестерпимо... Блеск солнца кажется беспощадным.

Что такое свершилось вчера? Что-то ужасно глупое и смешное. Да, я припоминаю: я был пьян и перепоил своих домочадцев. Я помню какой-то туман в глазах, помню жгучее ощущение вонючей водки, помню какие-то рожи и бестолковые речи, крикливые до нелепости. Рожи вертелись предо мной и

кривлялись странно; чьи-то толстые губы целовали меня мокрым поцелуем; усы жандарма грозно топорщились в разные стороны, и все это то исчезало в какой-то туманной сутолоке, то снова выдвигалось и галдело, широко раскрывая рты, и назойливо лезло в глаза... Иногда разговоры моих собеседников доходили до меня отчетливо и ясно, и тогда я их внимательно слушал; иногда же сливались, в какой-то смутный гул и протяжным стоном утруждали мои уши. Тогда я, в свою очередь, осложнял сумятицу и надрывался в криках. Но мне казалось, что это не я кричу, а кто-то другой, оживший во мне, и я удивлялся отчаянной наивности этого другого и тому, как он жестоко размахивает руками. У меня же нестерпимо кружилась голова и подымалось какое-то буйное желание разбить граненый стаканчик, наполненный водкою.

— А с какой с такой стати вы, господин, с нами, мужиками, водку пьете? — задает мне вопрос красная рожа с усами, и страшно шевелит этими усами, и низко наклоняется надо мною. Я чувствую, как внезапно пронизывает меня холодный трепет и лицо мое бледнеет. Я

искательно повожу глазами и улыбаюсь красной роже, стараясь смягчить неподвижный блеск ее прозорливых очей. Мои коснеющие губы лепечут что-то о «дне святого ангела», о хуторской скуке, о «православном» мужичке, которого я, как оказывается, особенно уважаю за верность и преданность...

— То-то, — изрекает рожа и великодушно наполняет мой стакан, — потому, мы примечаем, ежели бунт... Мы имеем предписание...

Рожа, видимо, важничает и, видимо, врет. Я слышу отрывочный рассказ о некоторых подвигах рожки и превосходно уловляю фантастический элемент этих подвигов. Но что-то непреодолимое по своей оцепенелости смиряет мою критику, и я усердно поддакиваю рожке и даже произношу одобрительные замечания. Это окончательно умиротворяет рожу. Затем все застилается туманом и подымается ужасный шум. Только спустя какое-то безобразно длинное время снова слова раздаются ясно и четко. Это говорю я. Я горячо доказываю, что никакой прирезки не будет и что ожидать ее нет резона. Я трогательно защищаю священные права собственности. Я упо-

минаю циркуляр г. Макова^{3} обзываю домо-
чадцев своих дураками и с неведомо откуда
взявшейся злобой насмехаюсь над их глупой
верой. Но целый поток возражений оглушает
меня. Я вижу, как раскрасневшийся Семен до
невероятности открыл рот свой и, гневно ско-
сив кроткие свои глаза, кричит на меня непо-
добными словами. Михайло к самому носу
моему сует здоровенные свои кулаки. Яков
ожесточенно сообщает извещение какого-то
отца Мисаила Косоглазого в Одессе касатель-
но «прирезки». Кухарка Анна пронзительно
визжит и рассказывает про странницу и про
то, как перед «волей» тоже говорили в народе,
и по тому сбылось. Откуда-то взявшийся но-
мер «Руси» снова появляется на столе, и кто-
то гнусливо читает в нем ничего не выража-
ющий отрывок из передовой статьи. Тщетно
я возвышаю голос и стараюсь перекричать
неописуемый гвалт: мне с торжеством указы-
вают на газету и победоносно тычут в нее
пальцами. Я слышу голос Михайлы.

— Небось, не надуешь! — кричит он, раз-
махивая кулаками и уничтожая меня зверо-
подобным взглядом. — Мужик-то, брат, сер, а

ум-то у него не черт съел... Вот она, газета-на-то!.. Мы тоже понимаем... Ноне тоже не хвалят вашего брата!

— Прямое дело! — возглашает Яков. — Газетина господская, а по ней прямо выходит — прирезка. А уж что बारे скрывают — это верно.

Я пытаюсь возражать, но меня не слушают.

— Спокон веков земля вольная, — кричит Семен, давно уже охрипши с натуги, — и деды и прадеды...

— Быть переделу! Быть переделу!.. Провалиться вам всем — быть переделу!.. — неудержимо стрекочет Анна и в каком-то задорном раздражении толкает Якова в спину, как будто от него получая возражения.

Я понижаю головою и бесцельно смотрю, как на столе пролитая водка стоит лужами и беспорядочно разбросанные крошки хлеба мокнут в этих лужах.

— Теперича каким же таким манером вы, господин, оспариваете насупротив газет и насупротив указа, например? — раздается сильный вопрос. Я поднимаю голову и снова

встречаю проникновенный взор, рожи. Она самодовольно крутит усы и снова важничает.

— Каким же таким манером, ась?

— Как же так? — возражаю я в изумлении.

— А вот точно так мы вас и спрашиваем: каким теперича манером вы насупротив указа?.. И как мы имеем предписание... — И рожа еще ближе наклоняется ко мне и еще проникновенней поводит взорами.

Я теряюсь. Я вздыхаю беспомощно и устремляю взгляд свой горе. В голове моей воцаряется полнейший хаос. Действительность кажется мне бредом. Я уже ничего не понимаю. Точно сквозь сон долетают до меня многозначительные речи жандарма, и лица моих домочадцев, в гробовом молчании внимающих этим речам, тонут в зыбком тумане. По речам выходят положительные чудеса. Солдатык повествует, что высшее начальство в Санктпетербурге окончательно определило насчет земли и что чуть ли не с весны наступит прирезка. Это солдатик слышал своими ушами. И про указ слышал. Им даже, как и всем прочим, читали его по казармам. Точно, там прописано про землю и про передел и

что мужички ждут передела. А так как они передела ожидают, то впоследствии времени будет им нарезка. И еще насчет бунта прописано, ловить чтобы которых и чтобы ежели против передела — доставлять по начальству. Затем говорил солдатик, что еще такой указ вышел: не работать по господам, а ежели жать, то не меньше как за сорок рублей. Впрочем, этого указа он не читал в Санктпетербурге, потому насчет цены только и прописано, что степным мужикам, а по прочим губерниям решения никакого нет.

Дальше я уж ничего не помню. Было какое-то общее целование и бесшабашнейшее изъявление чувств. Затем мрак...

Ох, как болит голова, и какая жгучая жажда одолевает меня. И зачем сверкает так ярко это солнце? Ручьи журчат, воробьи чирикают, небо синее.

Тетка с молчаливым упреком поглядела на меня и более продолжительно, чем когда-либо, терзала свое пианино. Нервы мои тоскливы ныли, сердце сжималось мучительно...

Скверная штука это похмелье!

18 марта. Солнце. Ростопель.

Все эти дни я не знал, куда мне деваться. Непрестанный солнечный блеск как-то странно раздражает меня. Какие-то беспокойные порывы приливают непрерывными волнами. Скука сменяется тоскою и снова скукою. Я опять перечитал газеты. На них уже налегла пыль толстым слоем, и я неоднократно чихнул, перебирая ящик...

Нет спора — все скверно... Правда, есть рецепты, но от них пахнет несомненным мошенничеством. В лекарство пытаются влить отраву и в качестве патентованного средства всучить эту отраву ошалевшей России. Но странно: сердце мое точно оцепенело в холоде, и ему недоступны гражданские скорби. Предо мной, как в калейдоскопе, проходит ряд явлений, разрисованных кровью, изукрашенных глупостью и подлостью, а я равнодушно смотрю в стеклышко и с зевотой ожидаю скучного конца.

Не это ли англичане зовут сплином? Тоска... Теперь уж и чужбина не манит меня. А между тем чувствую — необходима она: грудь болит, нервы томительно тупеют, кашель бьет отчаянно...

А не замечали ли вы, что так называемая интеллигенция наша с самых времен Чулкаурина^[4] преимущественно вымирает от чахотки? Впрочем, *entre nous, entre nous*[4], я во все не думаю умереть от чахотки, — я умру от скуки...

Сегодня тетушка разразилась трагической тирадой и в конце концов истерически рыдалась.

— Душно! — сдерживая вопли, произнесла она в пафосе, — без счастья и воли жизнь как в могиле темна... Буря бы грянула, что ли?..

— Чаша с краями ровна!.. — согласился я, откладывая газеты, и пошел проверить некоторые мои подозрения.

Увы! — эти подозрения подтвердились: графинчик наполовину стоял опорожненный, а когда я поцеловал тетушку, от нее пахнуло водкой. Это нехорошо, — прежде она не могла пить. Что если мой пример?.. Нет, не хочу думать.

Вечером долго погорала заря, и степь, истекшая звонкими ручейками, пламенела в кроткой задумчивости. Тетушка спала, обессиленная хмелем. А в полночь знакомый напев

пробудил меня, тетушка пела:

*О, верь, мы не надолго
Расстанемся с тобой:
Тоска угасит пламя
Моей души больной!..
О, север, север!..*

22 марта. Тепло и ясно. С утра легкий мороз.

Эти дни ездил по знакомым. Был в деревнях, заезжал в села, проводывал хутора... Странно, в воздухе носится что-то тревожное, и какие-то непонятные ожидания упорно бродят в народе. Кабаки торгуют плохо. Улицы тихи. Мужики многозначительны и необычно серьезны. При появлении сюртука соблюдается таинственность... Точь-в-точь как мои домочадцы.

Бабы ожидают светопреставления. Иные приготовили белье и вообще равнодушны, иные же ноют на всех перекрестках. О светопреставлении тоже сообщили газеты. Ох, эти газеты! Уж не изгнать ли их с лица земли русской? Не от них ли смута висит над Русью? Не они ли насытили воздух беспокойными ожиданиями?..

Много узнал свежих и пикантных новостей... Господин Карамышев призван в качестве сведущего человека. Гермоген получил подлинное «превосходительство» и невступно щеголяет теперь в белых штанах. Имение Обозинских продали с аукциона; поступило оно в руки скотоподобнейшего мельника из Криворожья. Серафим Ежиков застрелился в Холмогорах...

Сегодня первый раз услышал жаворонка. Быстро слетел он с проталинки и зазвенел серебристыми трелями... Долго, долго провожал я его взглядом. В высоте его крылья пронизало солнце, и они засветились и засверкали мелькающим сверканьем. И когда потонул он в яркой небесной синеве, а жемчужные звуки все-таки достигали до моего слуха, мне показалось — небо пело и кроткая благодать в чудных песнях нисходила на землю... Солнце ласково сияло. Необъятная степь замирала в сладостной дремоте... Сердце мое билось и тосковало.

24 марта. Тепло. С земли подымается пар. В небе вереницами ходят белые облака.

Доктор осмотрел меня и покачал головой.

— Еду, еду, любезнейший эскулап, поберегите ваши упреки...

— Пора, давно пора!.. Есть кашель?

— Кашляю.

— Кровь замечаете?

— Бывает.

— Чувствуете лихорадочное состояние?

— Иногда.

— По ночам потеете?

— Да.

— Гм... Аппетит как?

— Никакого.

— Пора, давно пора уехать!.. К тому же, у вас и нервы шалят... Очевидно, вы рискуете. Зачем эта музыка?

— Ах, эта музыка...

— Положительный вред. Берегитесь. Ступайте в Ментону. Кушайте виноград... А главное — нервы... Вы непременно должны охранять себя от всяких потрясений. Музыка — боже сохрани, любовь — окончательно воспрещается...

— Где уж нам, дуракам, чай пить...

— Окончательно воспрещается. Вести из

России — ни под каким видом. Кушайте, скушайте, берегитесь севера — и благо вам будет...

— Ах, как это хорошо сказано, милый доктор! Так никаких вестей из России?

— Ни-ни... Первый вред. Все остальное еще туда сюда, но вести российские... — Доктор многозначительно поднял палец и с суровостью нахмурил брови. — Ни за что не ручаюсь! — мрачно добавил он и уселся за кофе.

Прощай же, читатель! С доктором шутки короткие. Будем надеяться, что встретим друг друга и единодушно проклянем минувшие времена. Если же нет, если в голубой Ментоне окончательно dokonают меня «вести из России», — не поминай меня лихом. Вспомни, что я болел твоими болезнями и скорбел твоим горем, и за эту взаимную подъяремность не забудь меня...

Что это, опять музыка? Ах, тетушка, тетушка... Но она не слышит. Она поет дрожащим голосом и напутствует меня любимой своей песнью. О, какая печальная песня! Сердце мое млеет и тоскует, и невольные слезы выступают на глаза. Она поет:

*Близка пора разлуки,
Последний близок час,
В страну, где нет печали,
Уходишь ты от нас...
Addio! Addio!..*

Март 1882.

*Хутор на Грязнуше,
Воронежского уезда.*

Примечания

Прощай (*итал.*).

[^^^]

2

Туда, туда, где цветут лимоны (*нем.*).

[^^^]

3

Шабры — соседи. *(Прим. автора.)*

[^^^]

4

Между нами, между нами (*франц.*).

[^^^]

Комментарии

1

«*Dahin, dahin, wo die Zitronen blühen...*» — строка из стихотворения Гете «Миньона».

[^^^]

«*Русь*» — газета, основанная в Москве И. С. Аксаковым; выходила под его редакцией с 1880 года. Газета была выразительницей славянофильских взглядов Аксакова.

[^^^]

«...циркуляр г. Макова...» — Маков Лев Саввич (1830–1883), реакционный государственный деятель, в 1879–1880 годы был министром внутренних дел. Имеется в виду опубликованный Маковым циркуляр, в котором «разъяснялось», что надежды крестьян на получение новых земельных наделов необоснованны.

[^^^]

«...с самых времен Чулкатурина...» — Чулкатурин — герой повести И. С. Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850).

[^^^]